

Ajalehes „Komsomolets Kubani“ 1990. aastal ilmunud Irina Kirjanova artikkel, milles intervjuu kaudu annavad Hilda Sabbo ja Arnold Takkin ülevaate 1938. aasta traagilistest sündmustest Uus-Eesti külas ja sellele järgnenust. Digiteeris A. Aule.

Комсомолец Кубани, 23. октоober 1990, lk. 2 (rubriik «История: зеркала и призмы»)

КОНЕЦ УУС-ТЕЕ

Давным-давно, — а впрочем, не так чтоб во времена совсем уж незапамятные — жило-было в наших краях, в нескольких километрах от станицы Отрадной, большое и весьма удивительное для этих мест село.

Дорога там разделялась на три части: большая — для машин, дальше — для лошадей и лишь затем — тротуары, по которым ходили люди. Вдоль дорог тянулись густые ряды акаций, стволы которых всегда были ярко побелены. За тротуарами стояли дома, к ним примыкали огороды — и чего только в них не росло!.. И все это было ухоженное, ровное, чистое-чистое . . .

Люди в селе умели работать. Кормили картошкой и маслом весь район. Сами, правда, маслом не объедались, зато на вырученные деньги покупали в городе хорошие товары — велосипеды, ткани, музыкальные инструменты . . . Был в селе красивый клуб, где, как водится, работали всякие кружки, но гордостью сельчан был духовой оркестр. Все — или почти все — дети этого села играли на духовых инструментах . . .

Село образовалось в 1923 году, когда пришли сюда из Ставрополя несколько десятков эстонских семей. Назвали его Ново-Эстонка. В 29-м году здесь был организован колхоз «Уус-Тее», что означает — «Новый путь».

Но короткой оказалась жизнь Ново-Эстонки. Ужасен был конец «Нового пути». В ночь на 28 июля 38-го года всех взрослых мужчин села, от восемнадцатилетних юношей до 63-летнего старика — всего около ста человек — арестовали и увезли: сначала в Отрадненскую тюрьму, потом — в Краснодарскую. А 4 октября этого же года почти все они были расстреляны. Уцелели четверо, но их дальнейшая судьба была не менее трагической . . .

С той ночи медленно, но неуклонно село стало хиреть. Теперь его просто нет. Говорят, осталась только дорога в зарослях акаций . . .

ГИЛЬДА Альбертовна Саббо, Арнольд Юльевич Таккин и Приит Рихардович Калдоя — члены Общества эстонцев Союза, которое зарегистрировано при Фонде культуры Эстонии и занимается, в частности, вопросами репрессий и реабилитации эстонцев, живущих или живших в разных местах нашей страны. Приит — молод, заведует

отделом культуры Эстонского телеграфного агентства, на Кубань его привели не только дела Общества, но, наверное, и журналистский интерес. Старшие приехали на бывшую родину. Они хотят знать всю правду. Они хотят знать хотя бы, где могила тех ста человек, которые когда-то были их семьей, или друзьями семьи, или просто соседями — словом, которые когда-то населяли самый дорогой для них уголок мира, а потом в одну ночь исчезли навсегда. Только у Гильды Альбертовны среди этих ста — 36 родственников.

. . . Странно начался наш разговор. Словно специально затягиваемые улыбки, приветствия, обсуждение чего-то второстепенного, подробнейшие ответы на случайные вопросы . . .

Наконец, взглянули друг другу в глаза и . . . Гильда Альбертовна начала свой рассказ. Начала с конца. Видимо, так ей было все-таки легче. А может быть — копила силы для самого страшного рассказа . . .

— 28 июля, в годовщину той ночи, на одном из таллиннских кладбищ был торжественно открыт памятник погибшим мужчинам села Ново-Эстоновка, уничтоженным в застенках НКВД в 1938 году. Деньги на памятник были собраны Обществом эстонцев Союза с родственниками. Памятник похож на раскинувшего крылья орла, вместо туловища у которого — крест, Сто имен высечено на крыльях. Под фундамент еще прежде, 3 июля, была заложена капсула, в которую тоже поместили список погибших из Ново-Эстоновки, а также еще 25 фамилий — из соседней с ней Банатовки, 18 — из Ливоновки Урупского района, 51 — из села Эсто-Садок, что под Красной Поляной. Туда же вложили землю бывшей Ново-Эстоновки, свежие союзные и эстонские газеты за этот день и рукопись брошюры о событиях 28 июля. Приглашения разослали односельчанам во все края республики. Народу съехалось очень много. На открытии памятника играли скрипки. Рассказывали историю села. Потом дети зажгли сто свечей. Священник благословил памятник — и народ. Выступил представитель «Мементо» (эстонский «Мемориал»). Потом пели старинные эстонские кубанские песни — те, что были когда-то унесены из Эстонии на Кубань и бережно сохранены, в то время как в самой Эстонии они давно забылись . . . А потом играл духовой оркестр, ведь в эстонских селах любят играть на духовых инструментах . . .

Внезапный спазм прервал ее голос, глаза замутились слезами. «Простите», — прошептала она . . .

Выручил Арнольд Юльюсович, подхватил разговор. «Вам, наверное, интересно знать, как эстонцы попали на Кубань? . . .» Эта тема для него не ностальгическое хобби. Арнольд Юльюсович историк, закончил в свое время ныне уже не существующий институт философии, литературы и истории в Москве, кандидат исторических наук, преподает в вузе.

* * *

— В 60-е годы прошлого века активно заселялись земли, отвоеванные у горцев. Ехали сюда и из Прибалтики, ведь у нас, вы знаете, очень мало земли. Причем из Эстонии выезжало больше людей, чем из Латвии и Литвы, и если те ехали преимущественно на запад, в Америку, то наши почему-то — на восток, в Россию.

Сначала, 123 года назад, образовалась большая эстонская деревня в Ставрополье — Подгорная. Когда все места возле нее были уже заняты, продолжавших прибывать эстонцев отправляли дальше, в предгорья. Как подходила группа из 5—6 семей — так и отправляли. Подобным образом возникла и наша деревня — Маруха. Земли там были очень плохие. И давали десятину земли на семью — это почти ничего. Правда, в лесу были хорошие груши, и эстонцы приспособились вывозить их на север для продажи, и прозвали их за это «груше-едами». С местным населением — терскими казаками — эстонцы и в мирное время не очень ладили, а в гражданскую войну ситуация стала взрывоопасной, Казаки, в основном, поддержали белое движение, многие же эстонцы подались к воевавшему там Кочубею. В селах начались убийства, самосуд . . . И вот где-то в 22—23 годах возникло предложение податься на север. А тут как раз пустовали земли помещика Стоялова возле Отрадной, И земли эти были хорошие. Вот и переехали эстонцы сюда. Построили Ново-Эстонку. Одновременно неподалеку появилось еще эстонское село — Банатовка. В нашей Ново-Эстонке было около ста семей, в каждой — 3-4-5 детей. Занимались земледелием и скотоводством.

Конечно, из Эстонии выезжали преимущественно бедные семьи. Но были и вполне благополучные — просто, может быть, наиболее предприимчивые, смелые . . . Мой прадед в Эстонии был мастером суконной фабрики, деньги были. И вот — поездом до Ростова — прибыл в Россию . . . Кстати, одной из причин ухода эстонцев с родины была система жестокой эксплуатации, применявшаяся немецкими баронами, владевшими у нас землей. Помещики в России были более отсталые в смысле технологии, но они были не такие беспощадные.

— Скажите, а как отнеслись в Ново-Эстонке к образованию колхозов?

— О, я это помню очень хорошо, мне тогда уже лет девять было. Помоему, приняли спокойно. Раз власти велют — так и будем жить. Был в нашем селе такой человек — Эдуард Пеетерович Ассор. Он был умен, интеллигентен, имел сельхозобразование. И еще привлекала его неординарная судьба, в гражданскую он бежал от немцев через Чудское озеро, после множества приключений попал на Кубань. Авторитет его у нас был высок, И вот очень хорошо помню, пришли мы как-то к ним — а мы ходили к Ассорам всей семьей в баню — и пока женщины мылись, мужчины принялись обсуждать колхозную идею. Ассор рассказывал отцу и дяде о колхозах так увлекательно, так убедительно рисовал выгоды колхозной жизни (кстати, Ассор был потом председателем колхоза и «сгинул» еще в 37-м) . . . Эти разговоры происходили в 28—29 годах. К осени 29-го люди были уже подготовлены. В ноябре 29-го возник один колхоз, потом другой, в 30-м году они объединились под названием «Уус-Тее» — «Новый путь».

Сначала было плохо. Даже волки появились откуда-то. 34-й год стал переломным. Жизнь резко пошла в гору. Я до сих пор к колхозу большую симпатию имею. Мне кажется, это вполне приемлемая форма была. Помню, в 35-м году было у нас собрание в клубе, один активист (потом его тоже расстреляли) агитировал за какой-то новый закон. Люди возмущались. И тогда он сказал: помните, пять лет назад вы тоже опасались колхозов, а теперь вон как хорошо живете. И тогда все хором сказали, да, с колхозами, действительно, получилось . . . Да

у нас и на первом этапе коллективизации таких случаев, как с дедом Шукарем, — чтоб скот резали — не было. Все, что было, пошло в колхоз. Пережили и приняли. Помню, отец отвозил на своей лошади уполномоченного из района, — так все посмеивался, потому что у того револьвер был постоянно в руках. Отец смеялся, потому что не было у нас и в помине никакого сопротивления. И вдруг . . .

* * *

Он замолчал и посмотрел на Гильду Альбертовну. Она кивнула.

— В то лето мне было восемь. Помню, очень хотела в пионерский лагерь, но меня не взяли. А началось как раз с лагеря. Дети потом рассказывали . . . Ночь была очень темная. К лагерю подъехали машины. Лагерь окружили. Всех взрослых, вожатого в том числе, позвали на «комсомольское собрание». Перепуганные дети закрылись в вагончике, в котором в дождливые дни они любили собираться и пить чай . . . Закрыли даже окна. Пытались успокаивать друг друга. Но те, что постарше, стали догадываться, чем дело пахнет — годом раньше подобное случилось в соседней Ливоновке. И один мальчик сказал: это наших отцов забирают. После этих слов ему стало плохо. Девочки дали ему лекарство, и в конце концов все заснули . . .

Тогда был разгар крестьянских работ, немногие мужчины ночевали дома — одни были на току, другие — в горах, на заготовке сена . . . Папа рано утром повез зерно на элеватор. Мы с мамой проводили его, снова легли, как услышали крик у наших дверей. Мама выбежала, а там тетя, жена маминого брата, с трехмесячной дочкой на руках и четырехлетним сыном у подола — она так выглядела, что в первый момент мама ее даже не узнала. «Адольфа забрали!» — сказала она. Стали подходить другие женщины, выяснилось, что и того забрали, и того, и того . . . В нас еще теплилась надежда — отец-то уехал. Но оказывается, машина перехватила его в пути. Дедушка наш тоже был далеко, пас колхозный скот — но и его забрали. Он только успел сказать 13-летнему сыну: беги в деревню, позови людей, ведь доить некому, пропадет скот . . . Он же не знал, что в деревне тоже всех забрали . . . Женщины, у которых мужчин арестовывали прямо дома, рассказывали что при этом делали «обыск», забирали все, что поприличнее, вплоть до отрезков на платье — и конечно, облигации, деньги . . .

О, это был очень четко расписанный план. Они объехали все колхозные «точки». Старших уводили под видом срочного «партийного собрания», молодежь — под видом «комсомольского собрания». Были скотоводческие бригады, овощеводческие — до всех они добрались. Один мальчик рассказывал: он тоже в бригаде был, спал в сене на бричке. Проснулся от того, что кто-то поднял за волосы ого голову. «Сколько лет?» — «Двенадцать» — «Ну лежи» . . . Он видел, как мужчин их бригады в одних трусах вывели, приказали лечь в машину . . .

Никто ничего не понимал, тетя послала меня в пионерский лагерь сказать, что случилось в деревне. Утро было тихое, до лагеря — километра полтора. Никто мне не встретился, все было тихо. Но когда я проходила кукурузное поле, услышала шум моторов, спряталась в кукурузе и увидела, что в село едет милиция . . . В лагере спали. Я постучалась и сказала, что забрали отцов. Тогда все побежали: кто-то

спросонок — вообще голышом, кто-то с подушкой в руках . . . Бежали, плача . . .

Сначала арестованных свезли в наш красивый новый клуб — его открыли в 36-м году. Там работали духовой оркестр, танцевальный ансамбль, детские кружки, спортплощадка рядом, где играли в волейбол и футбол . . . Женщин к клубу не подпускали, но одной удалось прорваться и заглянуть в окно. Она рассказывала, что увидела только спины мужчин — они стояли на коленях, нагнувшись . . . Видела кучу ремней . . . зал был разделен пополам — с одной стороны арестованные, с другой — столы и на них бумаги, бумаги . .

Потом их увезли в Отрадненскую тюрьму. Я помню, что бежала за машиной и кричала: «Папа, папа! . . .» И мне казалось, что вот сейчас те люди сжалются над нами и выпустят его . . . Но машина не остановилась.

На следующий день женщины с передачами пошли в Отрадненскую. Узнали, что мужчин держали в подвале тюрьмы. Никто их, конечно, не кормил. Но передачи не приняли, женщин в тюрьму не пропустили. Кто-то из мужчин сумел бросить в окно записку, в которую был завернут камешек. «Женщины, идите домой, вы пойдете за нами» — было написано в ней по-эстонски. Женщины поняли, что это предупреждение о том, что их заберут следом. Все ушли, и действительно стали подготавливаться к дальней дороге . . . Но жена моего дяди, с трехмесячной дочкой на руках, осталась. Она знала одного из работников местного отделения НКВД: дядя был бухгалтером и помогал тому делать какой-то отчет. Тетя (она жива до сих пор) говорит, что помнит только имя этого человека, звали его Иван. Так вот Иван сказал ей: «Я сам не понимаю, за что их взяли. Но сегодня ночью их увезут, это просто переселение народа». Они вместе пошли к тюрьме. Им разрешили передать хлеб. Но ведь тетя осталась одна. Правда, деньги у нее с собой были. И тогда она пошла по домам просить мешки, сетки. Ей дали — и она отправилась в магазин. Потом сделала несколько рейсов от магазина к тюрьме, натаскала таким образом хлеба и конфет на всех. В десять вечера передачу приняли и передали в подвал. А в одиннадцать открылись ворота и всех увезли. Было уже темно, и тетя никого не узнала. Она бежала за машиной, кричала, но ее тоже не узнали, не услышали...

Некоторое время спустя одна из женщин, Хольм Эльвина, получила «письмо». Видимо, в суматохе ее муж сумел швырнуть его на дорогу. Это был кусок сигаретной пачки. На нем было написано: «Мы сейчас все живы, едем в сторону Краснодара. Женщины, не волнуйтесь, вы поедете вслед за нами. Кто найдет этот листок, прошу передать . . .» — и дальше был написан адрес Хольм Эльвины. Видимо, нашел этот клочок хороший человек. Послание прибыло к нам заказным письмом.

Из всех мужчин (около 120 человек из двух сел — Ново-Эстоньки и Банатовки) писали потом четверо. Сохранились только письма одного. Из них мы узнали, что они были в Краснодаре, в Темрюке, как издевались над ними, кто умер на следствии, и, наконец, что большинство расстреляно 4 октября в Краснодаре. А документ, который мы получили много позже, свидетельствовал, что наш отец умер в 47-м от язвы желудка в месте заключения . . .

* * *

— Четверо писали письма — снова вступил в разговор Арнольд Юльюсович. — Из четверых вернулись двое. Один вскоре после возвращения — в 46-м году умер. Другого в 57-м убили. Упорно держится слух, что убийство не было случайным и его «убрали» за то, что начал много рассказывать . . . Двое писали из Сибири. Один даже звал туда жену, и она уже собралась ехать, как вдруг пришла телеграмма: «Не надо ехать». Через несколько дней, как выяснилось потом, он умер. Четвертый жил в Норильске, был фельдшером. Его назначили сопровождать пароход с туберкулезными больными. Последнее письмо от него пришло из Красноярска. Это был крик! «Кто может помочь — помогите! Пришлите две головки лука и сала . . .» Родные выслали ему из Армавира посылку авиапочтой, но она очень скоро вернулась с надписью «Адресата нет». Как ни пытались потом выяснить, куда делся тот корабль с туберкулезными больными, так и не нашли никаких следов. История про это молчит. Нам еще предстоит разгадывать эту загадку. В общем-то все, что мы пока знаем достоверно — это дата смерти остальных: 4 октября. Есть свидетельства, документы . . .

А что было потом? После той ночи, того утра, после следующего дня? . . .

— Женщины стали работать на тракторах, — говорит Гильда Альбертовна. — Я с подругами уже в десять лет пахала. Пятилетние сели на лошадей. В селе осталось пять мужчин . . . Конечно, жизнь сразу пришла в упадок. Из нашего прекрасного клуба все вывезли в райцентр, в том числе и духовые инструменты. Но женщины опять скопили деньги и купили новые инструменты, и опять все дети у нас играли на них . . . У мамы после всего случился инфаркт, отцовская работа перешла ко мне . . .

— Мне в 38-м было семнадцать, — вспоминает Арнольд Юльюсович. — Учился в десятом классе, жил в Отрадной, в русской семье. На каникулы приезжали с приятелем домой — и работали, как каторжные, от зари до зари, хотя нас никто не заставлял. Это было для нас естественно. Наше сельское хозяйство очень долго на этом держалось — на том, что крестьянин, что бы с ним ни случилось, просто не может не ухаживать за скотом, но вспахать, когда приходит пора, землю, не засеять ее, не убрать . . . Сейчас, конечно, такое — истинное — крестьянство уже перевелось . . .

— Года четыре назад я побывала в нашей бывшей деревне, — продолжает Гильда Альбертовна. — Только один дом сохранился, все растащили . . . Одно время стали там поселяться русские — тоже пришедшие, из Вологды. Но не прижились. Массово стали уезжать эстонцы. Потом вырубил акации — они были большие, толстые, посаженные еще в 23-м году, Их взяли на доски, построили из этих досок какое-то административное здание в Отрадной, Но акации — такие деревья, чем больше их трогаешь, тем настойчивее они растут. Теперь там заросли акаций. Вот и все, что осталось. Да еще — дорога кое-как сохранилась. А могло бы быть такое большое, многолюдное, такое красивое село! . . . Сейчас мы ведем переговоры с Отрадненским райисполкомом о том, чтобы поставить там памятник нашим односельчанам.

4 октября Гильда Альбертовна, ее двоюродная сестра с племянником и внуком, а также члены краевого общества «Мемориал», среди которых были студенты Кубанского государственного университета и представители различных национальных обществ: немецкого, армянского, греческого . . . — собрались на Всесвятском мемориальном кладбище, где, по предположению, покоятся останки жертв репрессий 30-х годов. Возложили венки, цветы, поставили свечи на одну из безымянных братских могил . . .

* * *

. . . Возмездье? Мы не могли не заговорить об этом. Верное, и об этом тоже, потому что все равно это — не главное.

— Нужен публичный суд, — сказала Гильда Саббо. — Не знаю, как к этому отнесется правительство Краснодарского края, но поймите, я не вредитель, не враг, я здесь родилась и выросла, я очень люблю русский народ, среди которого жила много лет, но . . . публичный суд нужен. Есть еще живые свидетели. Есть, возможно, и те, кто знает, где похоронены наши отцы . . .

Но ведь всякий почти суд — это новые жертвы, новые стычки, и быть может, новый «залп» для сведения счетов? Возможно, надо говорить о суде иного уровня — о международном суде по типу Нюрнбергского процесса? О суде, который «переварил» бы, по возможности, все документы, относящиеся к годам репрессий, и стал бы мощным предупреждением всему человечеству? . . .

И памятник, наверное, тоже должен быть общим — всем репрессированным, независимо от национальности? . . .

Но и это не главное. Главное всегда не в прошлом, а в будущем. А прошлое нужно нам, как глубокое и правдивое зеркало, глядя в которое, стыдясь и ужасаясь, человечество должно было бы становиться хотя бы . . . осторожнее. Или нам всегда суждено оправдывать жестокий афоризм какого-то остроумца: «Человек — единственное живое существо, которое само себя пожирает»? . . .

Да, но в чем конкретно мы могли бы помочь нашим бывшим землякам из бывшей Ново-Эстоновки?

— Если кто-нибудь что-то помнит, что-то знает — напишите нам, пожалуйста, — попросила Гильда Альбертовна. — Адрес Общества эстонцев Союза: Таллинн, 200090, п/я 3434.

Она предложила также поставить на Всесвятском кладбище памятник жертвам репрессий, а пока выделить хотя бы символическое место, куда бы могли приходиться родственники погибших. И еще есть у нее идея «круглого стола» с представителями суда, прокуратуры, КГБ и «Мемориала» для обсуждения всего комплекса проблем, связанных с реабилитацией, стиранием «черных пятен» и т. д.

Ирина КИРЬЯНОВА,
наш корр.